

**ПРОБЛЕМАТИКА «ИСТОРИИ ПУГАЧЕВА» ПУШКИНА В СВЕТЕ
«ПУТЕШЕСТВИЯ ИЗ ПЕТЕРБУРГА В МОСКВУ» РАДИЩЕВА**

Ю. Г. ОКСМАН

22 мая 1833 г. Пушкин вчерне закончил первую редакцию «Истории Пугачева». Этот ранний вариант работы, судя по нескольким дошедшим до нас ее листкам и упоминаниям о ней в переписке поэта, представлял собою предельно сжатую сводку документальных данных о восстании, сделанную на основании материалов архива Военной Коллегии об операциях правительственных войск на фронте крестьянской войны 1773 — 1774 гг. В этой же сводке самым тщательным образом Пушкиным были использованы все те скудные свидетельства о Пугачеве и пугачевцах, которые проникли за полвека в русскую и зарубежную печать. Весь материал, оказавшийся в распоряжении великого поэта на первой стадии его труда, характеризовал факты восстания с позиций лишь его усмирителей, так как документальными, мемуарными и фольклорными данными, идущими из лагеря Пугачева, Пушкин еще не располагал. Поэтому и в своих высказываниях о движущих силах крестьянской войны автор «Истории Пугачева» не мог еще идти дальше самых осторожных догадок, проверка которых требовала от него, с одной стороны, значительного расширения круга официальных источников, которыми он был ограничен весной 1833 г., а с другой,—личного ознакомления с конкретными условиями хозяйственного и политического быта казачества, крепостного крестьянства и кочевого населения губерний, охваченных пожаром восстания.

Приурочив свою поездку в Казань, Оренбург и Уральск к осени 1833 г., Пушкин последние летние месяцы посвящает окончанию своих работ над собиранием материалов о пугачевщине уже не в государственных, а в частных петербургских и московских архивах. В числе новых исторических источников, свидетельства которых особенно обогащают начальную редакцию «Истории Пугачева», оказывается в эту пору «Осада Оренбурга» П. И. Рычкова, замечательная рукописная хроника очевидца и первого историка занимавших Пушкина событий. Не раньше июня—июля 1833 г. Пушкин получает и редчайший экземпляр «Путешествия из Петербурга в Москву» Радищева, тот самый, который, по свидетельству поэта, в 1790 г. «был в тайной канцелярии»¹.

¹ Экземпляр книги Радищева, оказавшийся в 1833 г. в распоряжении Пушкина, уникален. И не только оттого, что он вышел из Тайной канцелярии, а еще и потому, что в его тексте сохранились многочисленные отметки красным карандашом, сделанные в 1790 г. или кем-либо из руководящих работников секретного розыска, или, воз-

Книга Радищева не могла, конечно, дать Пушкину конкретного материала для документации тех или иных глав «Истории Пугачева», но значение этого источника для великого поэта было неизмеримо шире, ибо именно «Путешествие из Петербурга в Москву» помогло ему в исключительно быстрые сроки безошибочно определить свою позицию, как исследователя крестьянской революции, и взять при доработке «Истории Пугачева» осенью 1833 г. именно тот прицел, который обеспечил успех осмысления и всех прежних его разысканий в этой области.

Так, например, резко характеризуя в своей истории крестьянской войны 1773—1774 гг. бездарность, расхлябанность, трусость и бессмысленную жестокость представителей государственного аппарата, чуждых и враждебных народу, не понимающих ни его нужд, ни чаяний, ни условий политического и экономического быта, Пушкин явно опирался на тот приговор, который вынесен бывшей дворянской верхушке еще в «Путешествии из Петербурга в Москву». Именно здесь Радищев формулировал еще за полвека до «Истории Пугачева» свой тезис о том, что русское государство ничего в сущности не потеряло бы, если бы органы помещичье-дворянской диктатуры дотла были сметены народной революцией:

«О! если бы рабы, тяжкими узами отягченные, яряся в отчаянии своем, разбили железом, вольности их препятствующим, главы наши, главы бесчеловечных своих господ, и кровию нашею обагрили нивы свои. Что бы тем потеряло государство? Скоро бы из среды их исторгнулись великие мужи для заступления избитого племени; но были бы они других о себе мыслей и права угнетения лишены»¹.

Воскрешая в «Истории Пугачева» исторические образы «людей, которые кслебали государством», Пушкин, в меру цензурных возможностей, с некоторыми вынужденными оговорками и вуалировками все же сумел впервые в русской историографии показать в действии тот аппарат народной революции, основные черты которого пытался угадать Радищев. Разумеется, и Пугачев, и Белобородов, и Хлопуша, и Перфильев, и Падуров и другие выдвигенцы из народных низов были «других о себе мыслей», чем Панины, Потемкины, Чернышевы, Бранты и Рейнсдорпы. Кровная связь новых «великих мужей» с массой трудового народа выражалась не только в том, что они воплощали в своей политической практике волю и чаяния этих масс, но и в том, что эта же самая масса повседневно их контролировала и не позволяла отрываться от нее.

«Пугачев не был самовластен,—замечал Пушкин в главе III.—Яицкие казаки, зачинщики бунта управляли действиями пришлеца, не имевшего другого достоинства, кроме некоторых военных познаний и дерзости необыкновенной. Он ничего не предпринимал без их согласия; они же часто действовали без его ведома, а иногда и вопреки его воле. Они оказывали ему наружное почтение, при народе ходили за ним без шапок и били ему челом: но наедине обходились с ним как с товарищем, и вместе пьянствовали, сидя при нем в шапках и в одних рубахах и распевая бурлацкие песни» (т. IX, ч. 1, стр. 27).

Именно в этом контексте радищевский образ обездоленного «бурлака, обагреного кровию», которому суждено разрешить многое «доселе гадательное в истории российской»,² впервые получает конкретную до-

можно, самой Екатериной II, как убедительно доказывает В. Л. Бурцев в статье «Пушкинский экземпляр «Путешествия» Радищева». (Перепечатано в сб. «Рукою Пушкина. Несобранные и неопубликованные тексты». М.-Л., 1935, стр. 603—604) Справка В. Н. Орлова о том, что замечания, сделанные в пушкинском экземпляре «Путешествия», принадлежат самому поэту, явно ошибочна. «Радищев и русская литература», М., 1949, стр. 86.

¹ «Путешествие из Петербурга в Москву». В Санктпетербурге, 1790, стр. 387 (глава «Городяня»).

² «Путешествие из Петербурга в Москву», 1790, стр. 7 (глава «София»)

кументацию на страницах «Истории Пугачева», откуда в более яркой художественной функции перемещается затем и в «Капитанскую дочку».

В особой записке, представленной Пушкиным 26 января 1835 г. царю в дополнение к только что вышедшей в свет «Истории Пугачевского бунта», великий поэт обращал внимание Николая I на то, что в своем труде он не рискнул открыто указать на тот исторический факт, что «весь черный народ был за Пугачева» и что его лозунги борьбы с крепостническим государством нисколько не противоречили интересам прочих общественных классов.

«Одно дворянство было открытым образом на стороне правительства,—утверждал Пушкин.—Пугачев и его сообщники хотели сперва и дворянство склонить на свою сторону, но выгоды их были слишком противуположны <...>. Разбирая меры, предпринятые Пугачевым и его сообщниками, должно признаться, что мятежники избрали средства самые надежные и действительные к достижению своей цели. Правительство с своей стороны действовало слабо, медленно, ошибочно» (т. IX, ч. 1, стр. 375—376).

Из этих конфиденциальных «замечаний» непосредственно вытекали два политических вывода, прямо формулировать которые Пушкин по тактическим соображениям не решился, но в учете которых царем не сомневался. Первый вывод заключал в себе признание известной случайности победы помещичье-дворянской монархии в борьбе ее с Пугачевым, а второй сводился к напоминанию о том, что «Пугачевский бунт показал правительству необходимость многих перемен» Однако сделанный Пушкиным тут же краткий перечень тех поистине ничтожных «перемен», которые были осуществлены государственным аппаратом (разукрупнение областей, «новые учреждения губерниям», улучшение путей сообщения и т. д.) красноречиво свидетельствовал о том, что неосуществленной осталась важнейшая из реформ, подсказанных правительству уроками пугачевщины. Пушкин имел, конечно, в виду необходимость ликвидации крепостных отношений, таящих в себе угрозу «насильственных потрясений, страшных для человечества». Великий поэт ни в какой мере не претендовал в своем диагнозе на оригинальность. Каждая страница «Истории Пугачева», а впоследствии и «Капитанской дочки», являлась живой документальной и художественной иллюстрацией к политическим обобщениям и прогнозам, гениально намеченным Радищевым в «Путешествии из Петербурга в Москву».

«Поток, загражденный в стремлении своем, тем сильнее становится, чем тверже находит противустояние,—формулировал Радищев свое понимание назревающего революционного взрыва крепостных отношений.—Прорвав оплот единожды, ни что в развитии противиться ему не возможно. Таковы суть братия наши, во устах нами содержимые. Ждут случая и часа. Колокол ударяет. И се пагуба зверства разливается быстро. Мы узрим окрест нас мечь и отраву. Смерть и пожигание нам будет посул за нашу суровость и бесчеловечие. И чем медлительнее и упорнее мы были в разрешении их уз, тем стремительнее они будут во мщении своем... Приведите себе на память прежние повествования. Даже обольщение колик яростных сотворило рабов на погубление господ своих! Прельщенные грубым самозванцем текут ему во след, и ничего толико не желают, как освободиться от ига своих властителей; в невежестве своем другого средства к тому не умыслили, как их умерщвление. Не щадили они ни пола, ни возраста. Они искали паче веселие мщения, нежели пользу сотрясения уз. Вот что нам предстоит, вот чего нам ожидать должно. Гибель возносится горе постепенно, и опасность уже возвращается над глазами нашими. Уже время, вознесши косу ждет часа

удобности, и первый льстец или любитель человечества, возникши на пробуждение несчастных, ускорит его мах. Блюдитесь»¹.

Цитируемые нами строки из «Проекта в будущем», не являясь прямой авторской речью, очень близки впечатлениям от восстания 1773—1774 гг. в известной записке Д. И. Фонвизина «Рассуждение о непрменных государственных законах» (1784 г.). В этом нелегальном документе Российская империя характеризуется как «государство, которое силою и славою своею обращает на себя внимание целого света и которое мужик, одним человеческим видом от скота отличающийся, никем не предводимый может привести, так сказать, в несколько часов на самый край конечного разрушения и гибели». Напомним, что Н. М. Муравьев, приспособляя через тридцать с лишним лет записку Фонвизина к задачам агитационно-пропагандистской литературы декабристов, изменил в ней лишь внешний образ «мужика», приблизив его к историческому образу Пугачева: «государство..., которое бродяга, никем не наущенный, мог привести в несколько часов на край гибели».

Вопросы, которые волновали еще Фонвизина и Радищева, продолжали оставаться, говоря словами Белинского, «самыми живыми, современными национальными вопросами» и в пору работы Пушкина над «Историей Пугачева». Несмотря на то, что процесс разложения крепостного хозяйства определялся в стране все более явственно, правовые нормы, регулировавшие жизнь помещичьего государства, в течение полустолетия оставались неизменными. Не претерпели существенных изменений и формы борьбы «дикого барства» или «великих отчинников», как называл Радищев крупных земельных собственников, со всякими попытками не только ликвидации крепостного строя, но и с какими бы то ни было подготовительными мероприятиями в этом направлении. Естественно поэтому, что Пушкин в середине 30-х годов с таким же основанием, как Радищев в 1790 г., а декабристы в 20-х годах, не возлагает никаких надежд на возможность освободительного почина, идущего от самих помещиков, и так же, как его учителя и предшественники, трезво учитывает политические перспективы ликвидации крепостных отношений или сверху, «по манию царю», или снизу—«от самой тяжести порабощения», т. е. в результате крестьянской революции.

Характерно, однако, что ни Радищев, ни декабристы не склонны были эту грядущую революцию полностью отождествлять с пугачевщиной. В первой трети XIX столетия события крестьянской войны 1773—1774 гг. еще продолжали глубоко волновать представителей передовой русской интеллигенции, но отнюдь не в качестве примера положительного. Изучая опыт этого неудавшегося восстания, затопленного в крови десятков тысяч его участников, Радищев неудачу Пугачева («грубого самозванца по его терминологии) объяснял тем, что восставшие не имели сколько-нибудь определенной государственной программы, не отрешились от царистских иллюзий и искали «в невежестве своем паче веселие мщениа, нежели пользу сотрясения уз».

Уроки пугачевщины в их-понимании именно Радищевым определяют тактику и вождей декабристов, которые, по свидетельству Н. А. Бестужева, члена директории Северного общества, «положили себе правилом изучение сил и способов российского государства и его постановлений, дабы в случае какого-либо переворота, и особенно ежели бы оный начался с низших сословий, быть готовым людям, могущим направить буйное стремление черни, которая никогда не знает сама, чего она хочет, чтобы, действуя совокупными силами и единодушно, остановить могущие от сего произойти неустройства и кровопролития»².

¹ «Путешествие из Петербурга в Москву», 1790, стр. 260—262 (глава «Хотиллов»)

² «Восстание декабристов», т. II, стр. 71—72

Перспективы крестьянской революции и связанные с последней вопросы о той или иной линии поведения передового меньшинства правящего класса, сдавленного рамками крепостнического государства, но в то же время терроризированного и призраком новой пугачевщины, с такою же остротою встали в начале 30-х годов перед Пушкиным, как в свое время они стояли перед его предшественниками.

Опыт истории полностью, казалось, оправдывал худшие из прогнозов Радищева и декабристов. Мы имеем прежде всего в виду политические результаты разгрома николаевским правительством всех очагов крестьянских волнений 1826—1827 гг., а особенно восстаний военных поселян в 1831 году. Пушкин имел возможность очень близко познакомиться с подробностями самого мощного из них:

«Ты верно слышал о возмущениях новгородских и Старой Руссы. Ужасы! — писал Пушкин 3 августа 1831 г. П. А. Вяземскому. — Более ста человек генералов, полковников и офицеров перерезаны в Новгородских поселениях со всеми утончениями злобы. Бунтовщики их секли, били по щекам, издевались над ними, разграбили дома, изнасиловали жен; спасся один при помощи больных, лежащих в лазарете; убив всех своих начальников, бунтовщики выбрали себе других—из инженеров и коммуникационных». Передавая далее о том, как умело использованы были государственным аппаратом невежество и монархические иллюзии бунтовщиков, политически разложившихся после первых же успехов и сдавшихся очень быстро на милость Николая I, Пушкин заключал свой отчет словами: «Но бунт Старо-Русский еще не прекращен. Военные чиновники не смеют еще показаться на улице. Там четверили одного генерала, зарывали живых и проч. Действовали мужики, которым полки выдали своих начальников. Плохо, ваше сиятельство. Когда в глазах такие трагедии, некогда думать о собачьей комедии нашей литературы» (т. XIV, стр. 204—205).

С настроениями этой поры мы связываем и тот подъем интересов Пушкина к проблемам крестьянской революции, который приводит его, с одной стороны, к проверке основных положений «Путешествия из Петербурга в Москву» Радищева, а с другой, к изучению материалов по истории восстания Пугачева, как самого большого по своим масштабам движения народных масс за весь императорский период российской истории. Именно «Путешествие из Петербурга в Москву» помогает Пушкину осмыслить восстание 1773—1774 гг. не как случайную вспышку протеста угнетенных низов на далекой окраине, не как личную авантюру «злодея и бунтовщика Емельки Пугачева», а как результат антинациональной политики правящего класса, как показатель загнивания и непрочности всего крепостного правопорядка. Вот почему имена Радищева и Пугачева оказываются в центре внимания Пушкина и как романиста, и как историка, и как публициста. От Пугачева к Радищеву и от Радищева опять к Пугачеву— таков круг интересов Пушкина в течение всего последнего трехлетия его творческого пути.

Радищев, характеризуя мотивы или, как он говорил, «голоса русских народных песен», в них, в этих «голосах», предлагал искать ключи к правильному пониманию «души нашего народа». Пушкин с исключительным вниманием отнесся к этим творческим заветам автора «Путешествия из Петербурга в Москву» и уже во время своей поездки в Заволжье, Оренбург и Уральск именно в фольклоре нашел недостававший ему материал для понимания Пугачева как подлинного вождя крестьянского движения и свойств его характера как типических положительных черт русского человека. Это было открытием большой принципиальной значимости, ибо без него было бы невозможно и новаторское разре-

шение стоявших перед Пушкиным задач воскрешения подлинного исторического образа Пугачева¹.

Планы повести о Шванвиче—дворянине и офицере императорской гвардии, служившем «со всеусердием» Пугачеву (первый вариант будущей «Капитанской дочки»), в самом начале 1833 г. сменяются собиранием и изучением материала о самом Пугачеве и вырастают в монографию об «Истории пугачевского бунта». Подготовка к печати этого труда идет в 1833—1834 гг. одновременно с работой над специальной статьей о «Путешествии из Петербурга в Москву», которая в свою очередь сменяется собиранием и изучением материалов для биографии Радищева (1835—1836). Для своего «Современника» Пушкин готовит в 1836 г. статьи о Радищеве и повесть о Пугачеве. Проблематику именно этих своих произведений Пушкин и имеет в виду, отмечая в начальной редакции «Памятника», написанного вскоре после окончания «Капитанской дочки», свои права на признательное внимание потомков:

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что вслед Радищеву восславил я свободу
И милость к падшим призывал.

Комментаторская традиция, связывающая строки о Радищеве в «Памятнике» с одою «Вольность», представляется нам совершенно несостоятельной. Биографы Пушкина, опирающиеся на эту традицию, во-первых, не учитывают того обстоятельства, что Пушкин в 1836 г. никак не мог придавать большого значения своей юношеской нелегальной оде (он уже в 1825 г. называл ее «детской») и, во-вторых, забывают о том, что «Вольность» Пушкина не столько продолжала и развивала политические установки Радищева, сколько полемизировала с ними с умеренно-либеральных позиций Союза Благоденствия. С проблематикой крестьянской революции, определившей литературно-политическое значение «Путешествия из Петербурга в Москву», как вехи в истории русской национально-демократической культуры, связываются не «Вольность» и не «Деревня», а «История Пугачева» и «Капитанская дочка». Именно в этих своих произведениях Пушкин и пошел «вслед Радищеву».

ИЗ ИСТОРИИ НЕЛЕГАЛЬНОЙ АГИТАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НАЧАЛА XIX в. 1. «ПИФАГОРОВЫ ЗАКОНЫ» и «ПРАВИЛА ОБЩЕСТВА СОЕДИНЕННЫХ СЛАВЯН»

Ю. Г. ОКСМАН

Критический анализ показаний декабриста П. И. Борисова, главы тайного Общества Соединенных Славян, о том, что в основу созданной им революционной организации положены были «правила Пифагоровой секты», дополненные некоторыми положениями «известной республики философа Платона», позволяет установить, что П. И. Борисов в данном случае имел в виду не какие-то общие представления об основах философии Пифагора и Платона, как это отмечалось до сих пор всеми исследователями декабризма, а совершенно конкретное произведение агитационно-пропагандистской литературы конца XVIII и нач. XIX в.—«Политические и моральные законы Пифагора», вошедшие в виде заключительного тома в «Путешествия Пифагора» (Voyages de Pythagore) Пьера Сильвена Марешаля (1750—1803), одного из виднейших деятелей

¹ Об этом см. подробнее в нашей статье «Пушкин в работе над повестью «Капитанская дочка» («Литер. наследство», т. 58, стр. 222—242).

лей Заговора Равных, поэта, историка и публициста. Таким образом точно определяется, во-первых, первоисточник суждений членов Общества Соединенных Славян о «правилах Пифагоровой секты», и, во-вторых, принадлежность Сильвену Марешалю двух анонимных переводных русских изданий—шеститомника «Путешествия Пифагора»; (М., 1804—1810 г.) и брошюры «Пифагоровы законы и нравственные правила» (СПБ, 1808). Изучение материалов этих, не известных до сих пор в научном обороте памятников нашей политической литературы¹, позволяет значительно расширить традиционные представления о том, что бабувистская пропаганда не только «составляет важное промежуточное звено между социалистами-рационалистами дореволюционной эпохи и коммунизмом XIX в.», но и о том, что «без учета трудов бабувистов нельзя полностью понять развития социалистической мысли в течение десятилетий, непосредственно предшествовавших возникновению марксизма»².

Особое место в ряду русских популяризаторов учения Бабефа принадлежит В. С. Сопикову (1765—1818), автору известного труда «Опыт Российской библиографии», ученику Радищева, другу В. В. Пассека, И. П. Панина, Н. И. Гнедича и других русских вольнодумцев начала XIX века. Брошюра В. С. Сопикова «Пифагоровы законы и нравственные правила», прокламировавшая под маркою законов Пифагора материалистические и революционно-демократические лозунги «Заговора Равных», явилась руководством к действию для всей той группы русской дворянской и разночинной интеллигенции, которая выступила на историческую арену в рядах Общества Соединенных Славян. Политико-просветительная работа В. С. Сопикова оказалась именно тем звеном, которого не доставало исследователям для установления прямых не только идейных, но и личных связей, ведущих от Радищева к Вольному Обществу Любителей Словесности, Наук и Художеств и к его литературной периферии в лице Н. И. Гнедича и В. С. Сопикова³, а от последних к декабристам—к П. А. Катенину, В. Ф. Раевскому и К. Ф. Рылеву, с одной стороны, и к организаторам Общества Соединенных Славян, с другой.

¹ Русский перевод «Путешествий Пифагора» первоначально намечался к выходу в свет в качестве подписного периодического издания. Об этом свидетельствует наличие в некоторых из наших книжных собраний первых трех частей книги со следующим титульным листом: «Ежемесячное сочинение Пифагор, содержащее в себе изображение славной жизни и деяний сего великого гения древности, с ясным топографо-историческим описанием всех современных ему народов, их обыкновений, богослужения, таинств и достопамятностей, и с картинным представлением происшествий древних времен. Часть 1, 2 и 3-я. Москва, в университетской типографии у Любия, Гария и Попова. 1804 г.». Однако исключительная редкость данного варианта «Путешествий Пифагора» (мы познакомились с ним и с сведениями о нем в «Московских Ведомостях» 1804 г. в библиотеке Н. П. Смирнова-Сокольского) позволяет утверждать, что этот план издания остался неосуществленным.

² В. П. Волгин. Предисловие к переводу книги Ф. Буонарроти. Заговор во имя равенства, именуемый заговором Бабефа. М.-Л., 1948, стр. 49.

³ Связи В. С. Сопикова с Вольным Обществом Любителей Словесности не получили до сих пор правильного осмысления в специальной литературе. Исключительно наивны, например, страницы об этом в последней биографии В. С. Сопикова: «Сопиков, скромный книгопродавец и издатель, не мог быть полноправным членом этого общества, для вступления в которое нужно было представить оригинальное или переводное литературное произведение» («Совет. Библиография», 1941, № 1, с. 161). Не учитывая того, что оригинальные и переводные работы В. С. Сопикова в качественном и количественном отношении были гораздо значительнее печатных трудов огромного большинства членов «Вольного Общества», А. Д. Эйхенгольц далее повествует о том, как «в 1811 г Сопиков, потеряв, очевидно, к этому времени активные связи с писателями и журналами, поступил на службу в Императорскую Публичную библиотеку» (с. 63). Между тем именно благодаря этой службе В. С. Сопиков еще более закрепил свои литературные связи, так как ближайшими его сослуживцами с 1811 г. оказались И. А. Крылов и Н. И. Гнедич.

Революционная литература о Пифагоре и пифагорейцах, как основоположниках новых форм коммунистического общежития и демократической культуры, оставила неизгладимый след в политическом воспитании членов Общества Соединенных Славян, в их личном и общественном быту, в их переписке, в их уставных документах и даже в их мемуарах (записки И. И. Горбачевского). Данные эти не оставляют никаких сомнений в том, что, говоря об основаниях «известной республики философа Платона», декабрист П. И. Борисов и его соратники имели в виду прежде всего «общность имуществ». Именно эту «общность имуществ» считал основным положением утопической республики Платона не кто иной, как Монтескье («О духе законов», кн. IV, гл. 6 и 7), а Ф. Буонарроти, один из участников Заговора Равных и ближайший последователь Бабефа, поминал Платона в числе немногих «истинных мудрецов», борющихся, подобно Ликургу, Томасу Мору и Мабли, за новый общественный строй, «подчиняющий воле народа частные действия и частную собственность».

Критическое изучение текста «Правил Соединенных Славян» и сравнение каждого из параграфов этого уставного документа с принципами «Пифагоровых законов и нравственных правил» позволяет прийти к заключению о том, что неприятием общественного строя, освещавшего деление граждан на бедных и богатых, на угнетенных и угнетателей, и вытекающими отсюда требованиями борьбы за «равенство» как «величайшее человеческое благо» определялась политическая платформа как «Пифагоровых законов», так и «Правил Соединенных Славян». Особенно откровенное революционное и демократическое звучание в «Правилах Соединенных Славян» имел § 10, по сути дела центральный и узловый. В этом параграфе заключался призыв к разрушению «всех предрассудков, а наиболее до разности состояния касающихся». Однако враг, с которым предстояла борьба, конкретно нигде в «Правилах» не назывался, туманно обозначаясь то «невежеством с детьми своими, гордостью, суетностью и фанатизмом» (§ 8), то «предрассудками, до разности состояний касающимися» (§ 10), то «гордостью тирании с своею суетностью» (§ 14). Если этими аллегориями подменялись такие политические понятия, как «самодержавие», как «крепостническое государство», как «церковное мракобесие», как «кастовый общественный строй», то новый мир, который предстояло построить на развалинах феодализма, составители «Правил Соединенных Славян» еще более абстрактно представляли своей аудитории в виде торжества (обеспечиваемого неизвестно когда и какими путями) «просвещения на огромной территории от Черного и Адриатического морей до Ледовитого океана. Декабрист И. И. Горбачевский, характеризуя задачи, стоявшие перед организаторами Общества Соединенных Славян в период 1823—1825 гг., утверждал, что «Общество имело главною целью освобождение всех славянских племен от самовластия; уничтожение существующей между некоторыми из них национальной ненависти и соединение всех обитаемых ими земель федеративным союзом. Предполагалось с точностью определить границы каждого государства, ввести у всех народов форму демократического представительного правления, составить конгресс для управления делами Союза и для изменения, в случае надобности, общих коренных законов». То, что Горбачевский называл «главной целью», А. И. Борисов более точно определял в одном из своих показаний как «отдаленную цель»: «Мы выдумали отдаленную цель соединения славянских племен в одну республику и написали для оной правила или катехизис и клятвенное обещание». В «Пифагоровых законах» Сильвена Марешаля, предназначенных для легального распространения, нарочитое затемнение их конкретных социально-политических лозунгов вытекало из особенностей самого замысла и лите-

ратурного оформления книги. Но в «Правилах Соединенных Славян», рукописном уставном документе, это примитивная символично-аллегорическая оболочка боевых принципов революционной борьбы с абсолютизмом и крепостничеством могла ощущаться лишь как результат непреодоленного воздействия на создателей тайного общества традиций патетического стиля и «рабьего» эзоповского языка их предшественников и учителей.

Представляя собою не столько манифест революционной организации, сколько нормы личного и общественного поведения ее членов, «Правила Соединенных Славян» не могли мобилизовать вокруг своих лозунгов сколько-нибудь значительных кадров последователей. Отсутствие опыта большой организационно-политической и агитационно-пропагандистской работы, отсутствие связи с массой, неизжитая кружковщина и провинциализм не позволили вождям Общества Соединенных Славян создать программный документ большого исторического звучания. В самых ответственных его формулировках не ощущалось ни остроты политической мысли, ни контакта с чаяниями широких народных масс, ни революционного вдохновения, ни литературного мастерства.

И В Сталин, обобщая основные положения марксизма-ленинизма об исторической функции передовых идей, с исключительной выразительностью определил, что значение этих идей «состоит в том, что они облегчают развитие общества, его продвижение вперед, причем они приобретают тем большее значение, чем точнее они отражают потребности развития материальной жизни общества»¹. В какой же мере «Правила Соединенных Славян», как программный документ революционной организации, отражали подлинные потребности развития «материальной жизни общества» в конкретных русских условиях первой четверти XIX столетия? В какой мере именно в этих социальных и экономических условиях первенцы русской революционной разночинной интеллигенции могли претендовать на представительство политических интересов широкого народного фронта борьбы с крепостничеством и абсолютизмом? Ответ на этот вопрос дан всем предшествующим изложением истории Общества Соединенных Славян. Факты, совершенно непреложные, с одной стороны, не оставляют сомнений в близости материалистических и революционно-демократических идей Общества Соединенных Славян самым передовым учениям конца XVIII и начала XIX вв., а с другой стороны, эти же факты свидетельствуют об отсутствии подлинно народных корней в политической практике тайного общества, об оторванности его утопических планов от насущных интересов широких масс, от «самых живых современных национальных вопросов в России», как сказал бы Белинский. В основу «Правил Соединенных Славян» положен был русский перевод «Пифагоровых законов и нравственных правил», посвященных популяризации идей «Заговора Равных», как принципов «нового мирового порядка». Самый факт появления в России агитационно-пропагандистских писаний одного из ближайших учеников Гракха Бабефа заслуживает пристального внимания. Однако нет никаких оснований для переоценки значения этого интереса передовых русских людей к первым опытам популяризации принципов коммунизма, как задачи практической. Вспомним, что Маркс и Энгельс, характеризуя «революционную литературу, которая сопутствовала первым движениям пролетариата», отмечали, что, поскольку эта литература проповедовала «всеобщий аскетизм и уравнительность», постольку она «необходимо являлась реакционной». Именно эти положения «Коммунистического манифеста» были развиты Плехановым в его критике утопических абстракций Мабли и Морелли—учителей и ближайших предшественников Бабефа. В условиях еще не ликвидиро-

¹ И В Сталин «Вопросы ленинизма», изд 11, стр 546

данного феодализма вдохновенные проповедники уравниательства «во-первых, становились в явное и вопиющее противоречие с самыми существенными, с самыми насущными и общенародными нуждами эпохи, а во-вторых, смутно сознавая это, они и сами считали свои мечты совершенно неосуществимыми»¹.

В явном и вопиющем противоречии с самыми, существенными, с самыми насущными и общенародными нуждами оказались и «Правила Соединенных Славян», особенно в тех их частях, которые непосредственно восходили к «Пифагоровым законам» и к основаниям «известной республики философа Платона». Этот отрыв утопической мечты от крепостнической действительности, сковывая революционную энергию вождей тайного общества, порождал неверие их в свои силы, лишал правильного понимания политических перспектив. Эти упадочно-пессимистические настроения получили выражение и в записках И. И. Горбачевского, который, не понимая причин болезни, очень точно описывал ее симптомы: «Усилия Славян укоренить свои мнения и распространить общество оставались без желаемого успеха. Многие из них убеждались даже, что время нимало не сближает их с целию».

Диагноз этих «многих» оказался совершенно правильным. Их время еще не пришло, и выход на большую историческую дорогу для ревнителей традиций «Пифагоровых законов и нравственных правил» был обеспечен лишь в результате безоговорочного принятия ими генеральной линии «дворянских революционеров» — политической платформы Южного общества.

ДРАМАТУРГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ Н. В. ГОГОЛЯ

Е. И. ПОКУСАЕВ

«Драматического писателя должно судить по законам, им самим над собою признанным». Это тонкое замечание Пушкина в особенности верно в отношении автора «Ревизора» и «Женитьбы». У Гоголя была своя продуманная система драматургических взглядов, своя оригинальная концепция «истинно-общественной комедии». Специальное рассмотрение драматургической системы Гоголя открывает возможность глубже раскрыть содержание его пьес, определить новаторские черты его комедийного творчества. Вместе с тем изучение драматургических идей Гоголя имеет и более широкое теоретическое и историко-литературное значение. Мысли Гоголя о «пьесе, задирающей общественные злоупотребления», развивали и обогащали реалистические принципы русской драматургии. В этом смысле Гоголь воспринимается как ближайший теоретический союзник Белинского.

Наиболее полно, как известно, теория реалистической комедии обосновывается и разъясняется Гоголем в «Театральном разезде после представления новой комедии».

В одном из писем к Н. Я. Прокоповичу в 1842 г. писатель заметил, что «Театральный разезд» важен своими общетеоретическими идеями и его не следует выдавать за произведение, написанное просто «по случаю «Ревизора». В свое время Белинский так и понял «Театральный разезд». «В пьесе этой, — писал он, — содержится глубоко сознанный теория общественной комедии» и здесь Гоголь является «мыслигелем-эстетиком, глубоко постигающим законы искусства».

Но «Театральным разездом» не ограничиваются источники, в которых заявлены драматургические взгляды Гоголя. С этой точки зрения

¹ Г. В. Плеханов. «Критика наших критиков», СПб, 1906, стр. 326.

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СССР
САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

НАУЧНЫЙ
ЕЖЕГОДНИК
за 1954 год

САРАТОВ
ИЗДАТЕЛЬСТВО «КОММУНИСТ»
1955